

ядом стреле, — образ, к которому не раз возвращается дидактическая литература.

От риторического энкомия — откровенно политического жанра — Евстафий отличает историческое сочинение. Задача историка — не собиране славословий, а выяснение истины, чтобы сохранить в памяти потомков уносимое бегущим временем (Esp., p. 14.1—4). Не дружба (*φιλήτων*), заслоняющая правду, но любовь к истине (*φιλόληθες*) должна двигать историком (Esp., p. 12.28—30). Только любовь к истине может позволить историку выполнить его дидактическую задачу — установить связь между событиями прошлого и современностью и извлечь пользу для понимания теперешних событий (Esp., p. 18.8—10).

Противопоставление истории и энкомия — общее место византийской литературы²², но Евстафий идет дальше, выделяя два исторических жанра: рассказ о событиях, давно совершившихся, и повествование о пережитом, о недавнем. Тот, кто пишет о делах давно минувших лет (*χαριστορῶν*), может писать бесстрастно, уделяя место самым разнообразным темам: и богословию, и естествознанию, и топографии, и описаниям — у повествователя-современника (*συγγραφέμενος*) все это многозначество отступает на задний план, ибо он переполнен страстью. Если он вышел из мирян, никто не поставит ему в вину даже чрезмерную страстность, но автору, ведущему духовную жизнь, не следует давать волю театральным страстям, понимая, сколь велико различие между скорбью и восхвалением всевышнего (Esp., p. 3.14—4.2).

Строгому соблюдению иерархии жанров соответствует и традиционализм: жанр, приспособленный к определенной смысловой нагрузке, окостеневаает, и соответственно окостеневают, становятся традиционными, переходят из одного памятника в другой те элементы, из которых строится литературное произведение. Мысли, образы, сравнения становятся клише. Евстафий ищет оправдание подобной трафаретности изображения. Когда-то Солон постановил, что резчик печатей не должен тайно сохранять модель изготовленной им геммы — резчик был обязан уничтожить ее и не воспроизводить вторично. Иными словами, Евстафию кажется, что античный языческий мир предъявлял к художнику требование уникальности — современники же Евстафия не придерживаются подобных принципов: надо постоянно вспоминать, продолжает он, словно возражая Солону, о божественных деяниях царей, надо всемерно сохранять их отображение, надо доводить их до каждого (Fontes, I, p. 98. 24—26). Бесконечные повторения, устоявшиеся клише, переселяющиеся из одного панегирика в другой, получают теоретическое оправдание. Они и в самом деле соответствуют дидактическим принципам византийской литературы, объявлявшей своей целью идею, а не художественное выражение действительности, ортодоксальную правильность формулировок, а не свежесть мироощущения.

Но Евстафий уже не может безоговорочно принять эти принципы византийского спиритуалистического искусства и принести индивидуальное в жертву типическому. Когда он переходит от общих формулировок к конкретным оценкам, понятие «прекрасного» и «нового» приобретает значение необходимого критерия. Наставления Мануила, рассуждает Евстафий, — это образец ораторского искусства. Пусть Евстафий преувеличивает, пусть мы не согласимся с его оценкой красноречия воинственного самодержца — сейчас существует иное: в чем он усматривает достоинства идеальной речи? Эти достоинства, оказывается, — в соединении серьезности мысли с изяществом, возвышенности с приятностью. Император вообще соединил несоединимое — львиный рык и соловьиные трели, торжественность речи и приятность смеха (Fontes, I, p. 54. 13—18). В другом сочи-

²² Ср. Я. Н. Любарский в кн.: Анна Комнина. Алексиада. М., 1965, стр. 31.